ПРОШИН Д.В.

МЕТОДОЛОГИЧЕСКАЯ ОГРАНИЧЕННОСТЬ ФОРМАЛЬНОЙ СОЦИОЛОГИИ

Предлагаемая работа – результат существенной переоценки соображений, опубликованных нами в сборнике «Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства». Применяя формальный подход к современной коммерческой рекламе, мы пытались показать, как она вписывается в устойчивые рамки-формы (использовалось понятие «матрица»), упорядочивающие многообразие социальных процессов [7]. Мы и сейчас не отказываемся от сделанных ранее конкретных выводов, но вместе с тем полагаем, что приведшая к ним методологическая установка требует серьезного переосмысления.

Ниже можно будет убедиться: в том, что оспаривается методология, но не выводы, полученные на ее основе, нет противоречия. Скажем больше, именно эта кажущаяся сомнительной ситуация служит индикатором значительного методологического затруднения, с которым так или иначе должны сталкиваться адепты формальной социологии. Принципы формальной методологии неверны, но в то же время ее подходы настолько близки к самоочевидному поверхностному уровню восприятия и описания мира, что, в известной мере, ошибиться в выводах очень трудно. В чем же ошибочность формальной методологии? Как понимать ее «самоочевидность», поверхностность? Какова ее истинная – без «ритуальных» ссылок на авторитеты – научная ценность?

Раскрыть и обосновать предложенную формулировку проблемы, а также ответить на сопряженные с нею вопросы, – такова, в комплексе, наша главная цель. (Конкретные положения ранее опубликованной работы, которая сыграла роль стимула для написания данной статьи, ревизуются здесь лишь постольку, поскольку это отвечает основному замыслу).

Актуальность намеченных задач не нуждается в пространных доказательствах: методологическая рефлексия для науки всегда была и остается залогом дальнейшего развития. Что до изученности нашего вопроса, то, насколько мы можем судить, принципы формальной социологии в современной литературе (во всяком случае – не переводной) никогда еще не рассматривались в таком аспекте (идея формального подхода чаще всего лишь комментируется в предисловиях или послесловиях к сборникам классических трудов этого направления [5; 9; 12]).

Касаясь авторитетов формальной социологии, мы имели в виду прежде всего Г.Зиммеля. Строго говоря, зиммелевский «формализм» отличается от опробованного нами подхода, заключавшегося в том, чтобы рассмотреть рекламу в рамках т. н. «пространственно-временных матриц». Приводимая цитата, полагаем, прояснит суть дела: «Существование [элемента социальной системы] непосредственно раскрывается в том, как элемент встроен в сложившиеся в обществе пространственные порядки и временные последовательности. Эти порядки и последовательности варьируются от общества к обществу и от эпохи к эпохе…, но все возникающие варианты представляют собой лишь комбинации первичных пространственно-временных форм, за пределами которых невозможна социальная организация. …Как из одних и тех же букв, отлитых в формах-матрицах, набирались различные тексты, так

неизменные пространственно-временные формы-матрицы ("Здесь", "Там", "Сейчас", "Прежде", "Потом" и т. д.) упорядочивают все многообразие социальных взаимодействий» [7, с.377]. Зиммель же писал не о пространственно-временных матрицах, а о стабильных формах организации социальной активности, о комбинациях мотивов и действий, неизменно воспроизводящихся в любых социальных контекстах. (Это значит, к примеру, что формальные особенности отношений конкуренции остаются, по мнению Зиммеля, инвариантными независимо от того, в какой именно сфере разворачивается конкурентная борьба, – в бизнесе, политике или спорте).

Проявлением формального начала наряду с такими общими схемами взаимодействия, как конкуренция, господство или подчинение, Зиммель считал и доходящее до предела обособление четко определенных областей деятельности, превращение их из источника удовлетворения общественных потребностей в «окостеневший» набор норм и процедур, довлеющих самим себе. Рассматривая в качестве примера такой трансформации право, Зиммель писал: «Следовательно, хотя соответствующее праву поведение коренится в целях социальной жизни, само право в его чистом виде лишено всякой "цели". Оно уже не является средством, но, наоборот, из самого себя, без оглядки на узаконение какой-то высшей инстанцией, определяет способ организации жизненного материала» [4, с.488]. Свою мысль Зиммель проиллюстрировал знаменитым девизом императора Фердинанда I Габсбурга (XVI в.): «Fiat justitia, pereat mundus» («Пусть свершится правосудие, даже если погибнет мир»). К этой максиме как к возможному аргументу в пользу формальной социологии мы еще вернемся, но сейчас нужно ответить на вопросы, которые напрашиваются в связи с вышесказанным.

Не пытается ли автор без всяких на то оснований разделить свою ответственность за некие методологические просчеты с маститым теоретиком социологии? В конце концов, автор сам признает, что его, как он теперь утверждает, неэффективный формальный подход заметно отличается от того подхода, который обнаруживается в работах немецкого социолога. И – говоря уже собственно о Зиммеле – разве можно отрицать корректность и полезность выделения устойчивых форм организации социальной активности или вывода об отделении социальных форм от «материи» общественной жизни, составляющей их изначальное содержание? (Пусть не Зиммель первым заметил феномен «окостенения» – подобные мысли до него высказывал, по крайней мере, еще один человек (Г.Гегель), – именно Зиммель настоятельно привлек к этому феномену внимание социологов).

Во-первых, подчеркнем, что наша задача отнюдь не сводится к тому, чтобы доказать, «что Зиммель во всем ошибался». Так, мы оспариваем лишь некоторые из множества его частных наблюдений и оценок. Вопрос в том, как много дает учение Зиммеля науке (и – что еще важнее – нельзя ли, двигаясь другим путем, достичь большего, чем предлагает формальная социология). Это еще не ответ – скорее, возвращение к той проблеме, которая была поставлена в начале статьи.

Во-вторых (относительно несхожести подходов), можно быть «зиммелианцем» (или перестать быть им), лишь косвенно соприкасаясь с проблематикой и специальными методами родоначальника формальной социологии. Зиммель, конечно, заслуженно считается основоположником особого направления в социологической науке, но, вместе с тем, Зиммелем и его уже написанными работами формальная социология не исчерпывается. И дело здесь не в расширении списка имен (за счет М.Вебера, в первую очередь), а в том, что, как и любой теоретик-первопроходец, Зиммель представляет интерес для апологетов и для критиков не столько своими конкретными выводами, сколько самим вектором своего некогда обозначившегося идейного новаторства и своим продолжающимся влиянием на умы в научном сообществе. Зиммель выдвинул идею: фор-

мы предшествуют содержанию. Такова его главная методологическая установка, с критикой которой мы здесь и выступаем. Идет ли речь о формах деятельности, моделях отношений (конкуренция, покровительство, подчинение) или о пространственно-временных константах, которые регламентируют социальную активность, – в широком методологическом контексте это не представляется принципиально важным. В обоих случаях статика предшествует динамике, «ставшее» предшествует становлению.

Что кажется нам неприемлемым в этой установке и что мы намерены ей противопоставить? Для начала вернемся к Зиммелю и девизу Фердинанда I. Вряд ли старинное изречение, к тому же преднамеренно выпячивающее одну из сторон реальности, что свойственно всем афоризмам, может само по себе считаться убедительным доводом, подкрепляющим какое бы то ни было научное положение. Но если Зиммелю было угодно видеть в изречении правителя «Священной Римской империи» отражение замеченного им, Зиммелем, отрыва социальной формы от «жизненного материала», то следовало бы ответить на некоторые вопросы, чтобы избежать упреков в предвзятости.

Насколько свободно действовал Фердинанд, изрекая свои слова? Двигала ли им в тот момент уже «окостеневшая» форма правовых отношений? И если именно эта форма «потребовала» от правителя облечь ее в слово, то почему ничего подобного не произошло с Цицероном, который, будучи гражданином Рима, отличавшегося уж никак не меньшей формализацией юриспруденции, чем габсбургская империя, тем не менее сказал: «Summum jus – summa injuria», что означает: «Высшее господство закона есть высшее беззаконие»? (Заметим: это сказано отнюдь не безвластным благодушным мечтателем). Чем объяснить такое противоречие на фоне столь схожих формальных условий, если не личными взглядами исторических деятелей и не вмешательством внешних социальных факторов? Чего же больше в цитируемых Зиммелем словах германского кесаря – покорности диктату «окостеневшей» формы или расчета, произвола, игры красноречия и пр.?

В данный момент важнее разбора персональных мотивов государственных деятелей еще раз подчеркнуть: даже самая ригидная социальная форма оставляет место для действия внешних сил, во всяком случае, – для выражения человеком своего отношения к ней. И будем ли мы теперь, приняв во внимание все эти нюансы, вслед за Зиммелем утверждать, что увидели, как в области правовых отношений произошел «поворот на 180° – от определения формы жизни ее материей до определения материи жизни формами, поднявшимися до уровня определяющих ценностей...» [4, с.488]?

Проблемы, однако, не ограничиваются толкованием афоризмов. Оправданно ли, даже принимая точку зрения Зиммеля, называть право как таковое социальной формой, непосредственно «определяющей материю жизни»? (Обсуждаемый нами пример права у Зиммеля не единственный, упоминаются и другие «формализованные» области – наука, искусство [4, с.487], но для ясности мы будем продолжать работать с уже более-менее привычным материалом). Свое эссе «Общение. Пример чистой, или формальной социологии» Зиммель начал словами: «В любом человеческом обществе можно отделить форму от содержания; общество вообще представляет собой взаимодействие индивидов» [4, с.486]. В связи с этим – еще раз: регулируется ли взаимодействие индивидов «правом вообще» как формой социальной организации?

Конечно, мы часто именно так и говорим, но это скорее оборот речи, чем точное отражение того, как обстоят дела. Повседневное взаимодействие индивидов регулируется не правом как таковым, а отдельными юридическими нормами. Человек никогда не действует «вообще» – он делает «что-то», совершает вполне определенные действия, и его действия в каждом случае регулируются особыми, для этого и ему подобных случаев созданными нормами. Сказанное выглядит трюизмом (впрочем, не большим, чем утвер-

ждение, что общество является взаимодействием индивидов), но, вдумавшись, понимаешь, что только так можно вести содержательный разговор о человеческой деятельности.

Рассуждая же о влиянии макроформ, подобных праву, на человека, достигаешь исключительно высокого уровня абстрактности: в сознании ученого абстрактное «право вообще» регулирует схематические действия «человека вообще». Разумеется, в известном смысле, любое исследование несет в себе элемент отвлеченности, но, следуя за Зиммелем, мы доходим до предела. Пожалуй, точнее всего будет сказать, что на этом пути мы практически утрачиваем связь с исследуемой реальностью и замыкаемся в мире отвлеченных понятий.

Если и принимать формальный подход Зиммеля, то, чтобы приблизить его к действительности, нужно оперировать не масштабными, а мелкими, дробными (более «реальными», если угодно) формами, «тесно охватывающими» отдельные действия людей, «без остатка» соотносящимися с жизненным опытом человека. Мы не ставили перед собой специальной задачи – разработать некое подобие законченной системы, поэтому нижеследующее предложение не претендует на исчерпывающую полноту. Полагаем, что место зиммелевских макроформ могли бы занять (в совершенно условном порядке) «приветствие», «знакомство», «привлечение внимания», «похвала», «насмешка», «подражание», «угроза», «наказание», «прощание» и т. п.

В добавление к сказанному отметим, что соразмерность предложенных форм первичным человеческим действиям является тем надежным критерием отбора (общий признак – невозможность дальнейшего дробления), которого мы не находим в основе зиммелевской модели и который подменен в ней своего рода тавтологией. Начнем с уже знакомого примера. Итак, буква закона отрывается от породившей ее «жизни» и начинает доминировать над ней, в результате чего возникает право как застывшая форма. Но Зиммель, как было сказано, не останавливается на праве, – он упоминает науку, искусство, а также общение ради общения. Заметим: данные примеры у Зиммеля объединяет только то, что все они суть примеры возникновения каких-то форм, возвысившихся над содержанием.

Что помешает нам, в свою очередь, продолжить этот ряд, включив в него военное дело? Разве не являются попытки оправдать воинские преступления ссылками на приказ еще одним примером слепого подчинения форме? А в области строительного дела некоторые профессиональные правила и вовсе оторвались от породившей их почвы, изменились до полной неузнаваемости, приняв облик масонских ритуалов с использованием строительной символики и декоративных каменщицких инструментов.

Список подобных случаев, если не бесконечен, то необозримо длинен, и единственной общей для всех этих примеров чертой может считаться лишь то, что в каждом из них проявляется некая особая форма. Между масоном и юристом-крючкотвором, между военным преступником и теоретиком «искусства ради искусства» нет ничего общего, кроме одного, – их подчинения форме. Все прочее – масштабы деятельности, методы, наконец, природа самой формы, – все это разное, несопоставимое. Любая форма может стать объектом изучения только потому, что она представляет собой форму! Конечно, каждый из названных нами примеров заслуживает внимания, но речь не об их научной ценности, а о строении теории, которая может объяснить эти феномены. Принимая как форму все, что имеет признаки формы (вот она, тавтология), мы ничего не объясняем, а лишь описываем наблюдаемое, при этом повторяя избитую истину: чем продолжительнее и сложнее процесс, тем вероятнее его формализация и отделение сути дела от формы, управляющих элементов от элементов, непосредственно обеспечивающих продолжение деятельности и т. д.

Перейдем к следующему замечанию, которое гораздо важнее того, насколько полна

и валидна предложенная нами альтернативная схема. Из всего сказанного выше о формализме Зиммеля можно было легко сделать вывод, что это альтернативное предложение – по сути, не более чем полемический прием, тактическая уступка; как говорят французы, «reculer pour mieux sauter» («отступить, чтобы лучше прыгнуть»). Очерченные в данной статье формы, разумеется, не надуманны, мы на самом деле считаем, что они куда чувствительней, чем зиммелевские, регулируют взаимодействие людей, но мы в то же время считаем, что ни одну из них нельзя рассматривать как способную (еще раз процитируем Зиммеля) «определять материю жизни». И нужны нам эти альтернативы в первую очередь для того, чтобы на их примере (вернее, на примере одной из них) доказать непродуктивность попыток в социологических исследованиях ставить на первый план форму, а не содержание и внешнюю среду.

В качестве такого примера мы избрали подражание. Оставшийся «за скобками» предварительный анализ материала позволяет утверждать, что выдвинутый тезис подтвердили бы и другие названные нами формы (взять хотя бы разницу в содержании различных видов насмешек – от «отношений с подшучиванием» в африканских племенах [8, с.107-123] до выходок придворных шутов). Подражание, однако, занимает в нашем ряду особое место: когда-то Г.Тард уже обратил на него внимание и попытался доказать, что оно образует ни много ни мало основу развития общества («общество – это подражание» [цит. по: 6, с.34]). (Мы не согласны с Тардом по той же причине, что и с Зиммелем: форма – абсолютизированное подражание в отрыве от конкретных обстоятельств обретает формальный характер – не должна противопоставляться содержанию как предшествующее ему, определяющее его начало). Выбирая подражание в качестве примера, мы, во-первых, получаем возможность более «объемно» (благодаря одновременной полемике с Зиммелем и Тардом) представить свои доводы; во-вторых, обращаясь к объекту с такой научной «родословной», мы снимаем возможные сомнения как в нашей непредвзятости, так и в солидности самого примера.

Очертить основу формального сходства всех видов подражания не составляет труда: подражание в широком смысле слова представляет собой воспроизведение в деятельности подражающего субъекта некоторых черт внешней реальности. Но уже в первом приближении мы видим, что это описание по формальным признакам поверхностно. Какой мир предоставляет образец для подражания – природный или социальный? Если речь идет о подражании природе, мы, возможно, имеем дело с колдовством (гомеопатическая магия) [10, с.20]. Возможно, – с первоначалами технического творчества (Демокрит: «От животных путем подражания мы научились важнейшим делам» [цит. по: 3, с.68]). Наконец, возможно, – с творчеством художественным (аристотелевский мимесис).

Нет универсальной, все объясняющей формы подражания природе, нет и такой формы социального подражания. Более того, данная разновидность подражания намного сложнее, чем следование примерам природы. Подражание природе, как правило, функционально и прозрачно. Обряды гомеопатической магии имитируют желательный результат, ранее неоднократно наблюдавшийся в окружающем мире (скажем, имитация родов бесплодной женщиной) [10, с.23]. Механизм «технического» подражания природе также понятен: «Мы – ученики паука в ткацком и портняжном ремеслах, ученики ласточек в построении жилищ...» (Демокрит [цит. по: 3, с.68]). И в художественном творчестве (прежде всего в изобразительных искусствах), даже если учение о мимесисе в принципе ошибочно и художник – не простой копировальщик на службе у природы, прямая связь, сходство между природным образцом и художественным произведением все же сохраняется, за исключением разве что абстрактного искусства. В социальной плоскости связь подражающего и объекта подражания не так устойчива и очевидна, – тем менее

эффективен здесь формальный подход, различающий подражание в целом, но не разницу между его видами и не причины возникновения и чередования этих видов. Какой образец для подражания может отыскать человек в обществе? В широком смысле – только другого человека. Но важно увидеть, сколь разное применение в конкретных исторических условиях находит эта пустая форма подражания «другому».

В «Осени Средневековья» Й.Хейзинга пишет: «Жизнь рыцаря есть подражание» [11, с.85]. И далее повествует о сложившемся к началу XIV в. т. н. «культе девяти бесстрашных»: Гектора, Александра, Цезаря, Иисуса Навина, Давида, Иуды Маккавея, Артура, Карла Великого, Готфрида Бульонского [11, с.87]. Заметим, трое из девяти героев и образцов для подражания средневекового рыцарства (Гектор, Иисус Навин и Артур) – фигуры мифологические. Из пяти других (Давид, Александр, Иуда Маккавей, Цезарь, Карл Великий), являвшихся реальными историческими деятелями, ближайший к той эпохе, о которой мы говорим (Карл Великий), умер за пять веков до нее и, как и все остальные в этой пятерке, в XIV в. едва угадывался под покровом легенд. Лишь Готфрид Бульонский мог считаться «современником» своих подражателей (один из вождей Первого крестового похода, он умер в 1100 г.). Подражание легендарным героям мы расцениваем как ритуал, предписанный представителям рыцарского сословия. Речь в данном случае нужно вести не столько о подражании, сколько о соответствии, если нам, конечно, удастся этими словесными оттенками выразить наше понимание ситуации. Соответствовать рыцарскому идеалу – непременное требование к рыцарю.

Прямую противоположность средневековому «ритуальному» подражанию находим в нравах Нового времени, отразивших постепенную ломку социально-иерархической структуры и появление большей свободы в выборе жизненных ориентиров. В быстро меняющемся обществе человек подражает живым людям, своим современникам, тем, кто задает вектор и темп перемен (вопрос о характере этих перемен мы оставляем открытым). Новую направленность подражания по-своему запечатлел Дж.Байрон, сказавший: «В XIX веке есть три великих человека – Браммелл, Наполеон и я» [2, с.57]. Император Наполеон и сам Байрон не нуждаются в представлении; третий «великий» – Джордж Брайан Браммелл, известнейший денди той эпохи. О.Вайнштейн, процитировав поэта, продолжает: «Байрон был не одинок в своем преклонении перед харизматической персоной Браммелла – каждый второй молодой аристократ тогда всеми силами подражал Браммеллу» [2, с.57]. Судьба Браммелла уникальна в индивидуальном смысле (как биография) и типична как заметный, но отнюдь не единственный случай превращения новатора в пример сначала для ограниченного, а затем и для массового подражания. (Между прочим, по мнению Р.Барта, это массовое подражание в конце концов погубило подлинный дендизм; массовая мода «истребила всякую продуманную своеобычность костюма, тиранически утвердив его институциональную своеобычность» [1, с.397]).

Наши примеры показывают: рассуждения о «подражании вообще» мало что дали бы исследователю. Без учета социокультурных переменных роль подражания, природа образцов, избираемых отдельными людьми и целыми социальными слоями, и многое другое оставалось бы неясным. Тард, конечно же, понимал это – истина слишком очевидна, – но по какой-то причине (вероятно, из доктринерства) предпочел если не проигнорировать очевидное, то, по крайней мере, «откупиться» от него частичными уступками. Так возникла половинчатая, внутренне противоречивая модель. По Тарду, «общество – это подражание»; подражание играет роль универсального медиума для прогрессивных инноваций. Вместе с тем нам заявляют, что приживаются лишь инновации «востребованные», соответствующие уровню общественного развития. Беглый взгляд не находит здесь ничего неприемлемого, но

вдумаемся: сущность общественных отношений сводится к подражанию, в то же время само подражание, его направленность и результаты ставятся в зависимость от неких внешних факторов. Если мы попытаемся сохранить верность обоим тезисам, то, попав в порочный круг и лишившись точки опоры, уподобимся (правда, с куда меньшим успехом) барону Мюнхгаузену, вытаскивающему себя из болота за волосы. Будь Тард гибче или последовательнее, он осознал бы, что уточнение о принимаемых и отвергаемых новшествах, которым он отделывается от реальности, – по сути, не уточнение, а основание для полной ревизии его центрального положения о подражании как неизменной первичной форме, направляющей в то или иное русло течение общественной жизни. Сделанное уточнение дает нам право, во всяком случае, на один уровень с подражанием ставить те внешние факторы, которые регулируют само подражание. Формальная схема ломается, теряя свою первоначальную узость.

Почему же, несмотря на столь крупные изъяны, формальный подход все-таки сумел найти себе место в социологии? Можно сказать, здесь проявилась систематизаторская традиция, утвердившаяся в западной науке со времен Аристотеля: инвариантные формы как предмет анализа позволяют исследователю четко рассортировать материал по «ячейкам», создать кажущуюся безупречной в своей стройности систему. С систематичностью связана подкупающая наглядность и «осязаемость» формальных моделей (аргументы в формальной социологии нередко уступают дорогу дескрипциям).

Точность этих дескрипций, бесспорно, делает честь эрудиции и методичности их создателей. Но описательское мастерство, являющееся сильной стороной формальной социологии, очень ненадежно маскирует ее слабость. Нельзя не заметить, что описываемое принадлежит к очевидному, феноменальному уровню реальности. В своей притягательной очевидности формы организации социальной жизни лежат «на поверхности», откуда их практически без всякого труда и берет исследователь. В дальнейшем формы могут дойти, как у Зиммеля, до пределов абстрактности, но отпечаток происхождения остается, несмотря ни на что: формальная социология «открывает» то, что и так дано человеку в его социальном опыте.

В статье, ссылкой на которую начата эта работа, мы анализировали рекламу как аномалию, выбивающуюся из устойчивых пространственно-временных форм-«матриц» [7, с.379-380]. Мы и сейчас придерживаемся того же мнения и считаем, что нам удалось убедительно продемонстрировать аномальный характер современной рекламы. Но насколько глубоки выводы, полученные в ходе проделанного нами исследования, и какое дальнейшее развитие они могут получить? Мы старательно описали фрагмент реальности, доступный взгляду любого внимательного наблюдателя, используя понятие пространственно-временных матриц («Здесь» – «Там», «Начало» – «Конец» и т. д.) – понятие корректное, но всего лишь обобщающее очевидные проявления и исключительно дескриптивное, никак не раскрывающее генезиса описываемых феноменов. Добавить что-либо существенное к сказанному (точнее – к сделанному описанию) не представляется возможным, тему рекламы в пространственно-временных формах мы считаем исчерпанной; остается искать применение намеченным формам в исследовании других сфер общественной жизни. В принципе, это возможно, но результатом, который принесет такая экстенсивная метода, станет калейдоскопическая смесь объектов и проблем. Каждый ее элемент, даже детально описанный, будет изолирован от других элементов. Чтобы сообщить разрозненным частицам связность, дающую право говорить о некотором понимании происходящего если не в обществе в целом, то хотя бы в относительно масштабных его сферах, опять-таки придется выйти за рамки устойчивых форм и найти какой-то общий знаменатель для тех явлений, которые данными формами упорядочиваются.

Здесь хотелось бы подвести итог. Мы не выплескиваем из купели вместе с водой и ребенка. Формализация, безусловно, является важным социальным процессом, – но лишь одним из многих; понятие формы как составная часть социологических теорий было и остается удобным инструментом упорядочивания и корректного описания наблюдаемых явлений – наряду с понятиями становления и изменения, не говоря уже об определении причин изменений. Абсолютизация же формального начала во всех его видах препятствует глубокому проникновению в содержание любой социологической проблемы и стопорит ее решение.

ЛИТЕРАТУРА

1. Барт Р. Дендизм и Мода / Барт Р. Система Моды. Статьи по семиотике культуры. – М.: Издательство им. Сабашниковых, 2004. – С.393-398.
2. Вайнштейн О.Б. Денди: мода, литература, стиль жизни. – М.: Новое литературное обозрение, 2005. – 640 с.
3. Гульга А.В. Эстетика в свете аксиологии. Пятьдесят лет на Волхонке. – СПб.: Алетейя, 2000. – 447 с.
4. Зиммель Г. Общение. Пример чистой, или формальной социологии / Зиммель Г. Избранное. Т.2. – М.: Юрист, 1996. – С.486-500.
5. Ионин Л.Г. Зиммель: жизнь и философия / Зиммель Г. Избранное. Т.2. – М.: Юрист, 1996. – С.550-568.
6. Оссовская М. Рыцарь и буржуа: Исследования по истории морали. – М.: Прогресс, 1987. – 528 с.
7. Прошин Д.В. Реклама в пространственно-временной матрице общества // Методологія, теорія та практика соціологічного аналізу сучасного суспільства: Збірник наукових праць. У 2-х т. Т.2. – С.376-380.
8. Рэдклифф-Браун А.Р. Структура и функция в примитивном обществе. – М.: Издательская фирма «Восточная литература», РАН, 2001. – 304 с.
9. Филиппов А.Ф. Обоснование теоретической социологии: введение в концепцию Георга Зиммеля / Зиммель Г. Избранное. Т.2. – М.: Юрист, 1996. – С.569-599.
10. Фрэзер Дж.Дж. Золотая ветвь: Исследование магии и религии. – М.: Политиздат, 1980. – 831 с.
11. Хейзинга Й. Осень Средневековья – М.: Айрис-пресс, 2004. – 544 с.
12. Юдин А.А. Георг Зиммель: почему он не стал философским классиком? / Зиммель Г. Избранные работы. – К.: Ника-Центр, 2006. – С.3-10.